

Мысль написать такую вот светлую и тёплую книгу о трогательном, хотя и нелепом в чём-то человеке пришла мне в начале тягостных месяцев проклятой пандемии. Я вдруг поняла, что читателю и так тяжело дышать, и так тесно жить; что его и так сейчас сопровождают болезни, горести и потери; читатель инстинктивно ищет в мире книг такое пространство и такую «температуру эмоций», где он мог бы не то что спрятаться, но войти и побыть там, легко дыша, пусть и грустя, но и улыбаясь.

Я поняла, что не хочу навешивать на своего читателя вериги тяжеловесных трагедий, и — главное — не хочу убивать своего героя. Нет, пусть, сопереживая ему, читатель вздыхает, смеётся и хохочет — так же, как мы сопереживаем, читая прозу О'Генри, Гашека или Джерома, — хотя, знаем, что жизнь человеческая полна разного рода невзгод и даже смертей. Я намеренно создавала образ человека любящего, трогательного, порядочного, а на каких-то поворотах судьбы отчаянно смелого и даже странного, отчего он не раз заслуживает от окружающих прозвище: «маньяк».

Дина Рубина

Владимиру Гамерову

Часть первая
ДЕТСТВО ГУРЕВИЧА

Родимая обитель...

Семья была врачебная, и это определяло всё — от детских игр до трагической невозможности нащёлкать градусник до тридцати восьми. Но с мамой и не забалуешь: резкая, властная, она каждому воздавала по заслугам и мнения при себе не держала: если сделал что-то умно и ловко, это у неё «нормально». Если плохо, пеняй на себя. Спросит только: «Ты идиот или прикидываешься?» «Нет, я не прикидываюсь», — возражал торопливо сын. Перед мамой всегда хотелось немедленно оправдаться.

Работала она в женской консультации № 18 при Октябрьской железной дороге. Проводницы, буфетчицы, билетёрши и контролёрши — весь женский железнодорожный состав — были её пациентками. Всё трудные советские судьбы, израсходованные советские тела.

«Суть маминой профессии, — заметил как-то папа, — увы, далека от поэзии».

12 «Суть твоей профессии, — немедленно отбила мама, — поэтичной тоже не назовёшь».

Папа, врач-терапевт, работал в психиатрической больнице. Был он красавец, романтик, член Пушкинского общества; всего Пушкина знал наизусть, а взятки брал только книгами.

Работали оба на полную ставку, и потому маленький Сеня рос, как трава, — по телефону. Родителей видел редко, но слышал почти постоянно:

— Почисть картошку... Почистил? Порежь её кубиками, и с ножом там осторожней, без идиотских штук... Теперь набери в кастрюлю воды, примерно до середины...

Одной рукой мама держала телефон, а что там делала другой рукой, можно только вообразить. Как и многие медики, родители не слишком заморачивались иносказаниями, обсуждая при сыне трудные врачебные случаи, так что поначалу смутно, затем всё детальнее Сеня представлял панораму их профессиональных будней.

Когда сын простужался или выходил на каникулы (то есть когда маячил перед ним худосочный призрак маломальской *свободы мысли и воображения*), мама говорила: «Балду пинать?! Нет уж, дудки!» — и забирала Сеню с собой на работу. Там она его нагружала каким-нибудь медицински полезным делом: выдавала почковидный тазик, полный щепками, и Сеня эти щепки строгал перочинным ножиком. Затем наматывал на них тонким слоем вату — получались палочки для вагинальных мазков.

Мальчик трудился, он любил простую артельную работу: сиди-строгай, двумя пальцами вытягивай из комка ваты тонкую дорожку, наматывай её, думай о чём хочешь. Это и есть *свобода мысли и воображения*.

Веер вагинальных палочек в металлическом стакане — привычная с детства картина...

...Бывало, и папа брал его с собой на работу, и это было куда интересней.

Городская психиатрическая больница № 6 размещалась на территории Александро-Невской Лавры. Сеня с папой выплывали из-под земли, от метро брали вправо, переходили Невский у самого-самого последнего дома и по узкой дорожке (серый зернистый асфальт, щербатые поребрики) шагали между некрополей в ручейке очень странных людей: семенящих старушек в чёрном, юношей с распущенными, как у русалок, власами, мужчин в длинных чёрных платьях.

Давным-давно папа объяснял, что дамские мужики — это священники, а патлатые юнцы-русалки — их студенты.

Дальше — мост через речку Монастырку, и вот она, Лавра.

Летом за воротами Лавры очень красиво: всюду розы, розы... В их спутанной багряно-белой волне утопи всеми позабытые (даже буквы стёрлись!) могильные камни.

Но ручеёк чёрных старушек, женщин в косынках, длинноволосых юношей струился даль-

14 ше, к самому сердцу Лавры — Свято-Троицкому собору. На православные праздники здесь собирались толпы верующих. Мощный и невесомый одновременно, он царил над купами деревьев, над мраморными и каменными надгробиями, над речкой и кустами-цветами...

Папа никогда не упускал случая втемяшить сыну какую-нибудь историческую или архитектурную дребедень: «Видишь, — говорил, — шлем купола тяжёлый, лежит на подпорке такой с шестнадцатью окнами, называется «барабан». У папы спрашивать что бы то ни было просто опасно: тебя занесёт пургой непонятных слов, сам не рад будешь, что спросил. И от стихов не отобьёшься, зажужжит роем пчёл:

*Когда великое свершалось торжество
И в муках на кресте кончалось божество,
Тогда по сторонам животворяща древа
Мария-грешница и пресвятая дева
Стояли две жены...*

Как это — две жены? Бабушка Роза говорит, что порядочный человек худо-бедно обходится одной женой. Вот у папы худо-бедно — мама, у деда Сани — бабушка Роза. Может, кто-то шустрый хапнет сразу двух жён и хвастается: а у меня, мол, их целых две, не худо и не бедно!

Их путь пролегал через всю территорию Лавры. Если не слишком торопились, они заглядывали в любимый уголок: от стены храма влево бежала дорожка к заброшенному кладбищу. Здесь в центре позабытого всеми некрополя высилась башня:

тоже всеми заброшенная и позабытая, грустная заколоченная церковь. Обойдёшь её, а там — спуск к совсем уж деревенской речке, где плавают утки, а в высокой сочной траве по берегам — брызги жёлтых одуванчиков. И шмели гудят, и зеленова-то-белых капустниц ветерок носит, как на даче. Прямо не верится, что это — центр города.

Среди старинных склепов, каменных ваз и крестов с выбитыми на них полустёртыми буквами можно ходить часами, осторожно пробираясь между надгробиями.

— Не наступай на могилы, — каждый раз напоминал папа, — уважай покой мёртвых. *Решётки, столбики, нарядные гробницы, Под коими гниют все мертвецы столицы...*

А вот главное: над изгибом речки, на откосе стоит полуразрушенный склеп с башенкой — окна запylённые, в паутине, кое-где даже разбитые. Сказочный домик крепко уснувшей, да так никем и не разбуженной Спящей Красавицы.

Но под решётки окон кто-то подсовывает маленькие пластмассовые розы; иногда придёшь — а там новые. Это усыпальница Анастасии Вяльцевой, старинной певицы такой. Папа рассказывал, что до революции к её ногам *бриллианты бросали*, слава гремела по всей России, а умерла она совсем молодой, от чахотки. Мама говорит, тогда все от чахотки умирали: ноги промочил, вот тебе чахотка. Ну и забыли её совсем, тем более что романсы уже не в моде. Хотя приходит же кто-то, цветы приносит...